

ВАСИЛИЙ КИЛЯКОВ

ПРЕДСТОЯНИЕ

К 95-летию Учителя

“Духовность — это то, что отозвалось в душе порывами милосердия”, — так сказал незадолго до ухода Михаил Петрович Лобанов. Мне передала эти слова его супруга, наперсница и друг, хранитель огромного наследия — лобановского достояния — Татьяна Николаевна Окулова (Лобанова). Эти трагически правдивые слова девяностолетнего старца, как слова молитвы, проникновенной музыкой и тайной подсказкой для жизни звучали, не отпускали всю долгую дорогу в ночи из Екшура до самой Москвы, до метро “Котельники”. И даже в ночном московском метро я всё связывал с ними, вспоминал, процеживал сквозь сито этих слов воспоминания о нём. Его улыбку, жесты. Ненавязчивые, но всегда глубочайшие напутствия и советы при прощании.

Вот и теперь, даже покинув этот мир, он давал мне совет. Теперь уже через близкого и дорогого человека. Супругу. Так что же такое жизнь? В самом деле, “луковка” Достоевского? Но как же сурово, жёстко и безжалостно противостоит нынешний мир всем им, классикам нашим: и Достоевскому, и Лобанову, и Астафьеву, и Абрамову, и Распутину... И Бунину, и Куприну. И Льву Толстому даже! Этот “новый мир” противостоит всей нашей русской культуре. Той русской культуре, которая объединяла наши малые народы воедино. И в СССР, и раньше. И весь мир читал на русском Гамзатова и Айтматова, Лесю Украинку и Шоту Руставели. Мир осиротел, съежился. Теперь эти республики, кажется, овдовели... Значит, не только “порывами милосердия” по отношению ко всем людям, к читателю была “та литература”. Любовью. И все писания Лобанова как редчайшего её представителя. И вовсе даже и не “луковичкой” они оказались, а чем-то гораздо более важным. Большим. И для мира, и для “малых народов”. Но вот уже стали забывать имена великих писателей и принимать навязанные привычки и правила. И вот, в этой беспрсветной тьме — как яркая лампочка зажглась, как чудо: Дворец культуры в Екшуре имени М. П. Лобанова!

Может быть, он сам, уйдя из земной жизни ровно три года назад, почти день в день, молится о нас. И праведной молитвой его о своей земле и Родине, в его родном селе близ Спас-Клепиков случился этот подарок, это напоминание о том, что мы люди. Что у нас много обязанностей, а не только права. И о том, что нужно видеть во всяком человеке, даже незнакомом прохожем — замысел Божий. По слову Достоевского. И любить именно этот Замысел о человеке. Любить человека несмотря ни на что, даже если “по делам его” — любить ну никак невозможно!

И мне всё никак не верилось, что в России даже теперь можно назвать район, улицу, Дом культуры именем не либерального болвана или банкира, проворовавшегося мэра или чиновника, который всю жизнь свою “празднует

блистательно”, а именем героя, фронтовика, почвенника (“русофил” – поганое слово, “русолоб” лучше). Именем человека, вся жизнь которого – Предстояние. Служение Отечеству и культуре. Учительство, литература и нравственное делание. Передача опыта жизненного и литературного. Бескорыстие и молитва.

Как радостно за эту победу среди бесконечной череды поражений и раздора, неприятия друг друга, мести, упреков в рядах наших. Когда прощались в Екшуре с Татьяной Николаевной, я с тайной радостью (не был прежде знаком с ней лично) любовался ею. Знать, “и один в поле воин, коли ладно скроен!” Дочь фронтовика, участника обороны Сталинграда, – она, конечно, знает, что почём в этой жизни. И трогательная забота её о каждом из нас, обрадовавшихся возможности встречи и участию в освящении, открытии мемориальной доски имени Михаила Петровича, празднику и молитве за “благоденствие и чистоту” екшурского недавно отстроенного ДК...

Родные черты рязанцев, музыка хорошего чистого слова, добросердечие принимавших нашу делегацию в Екшуре... Видишь, слышишь, угадываешь в человеке своего. Глава района Николай Владимирович Крейтин встретил нас с нескрываемой радостью, как дорогих гостей. И эта предупредительная заботливость обо всех и каждом большого, богатырского сложения человека была особенно мила и трогательна.

И вот Дом культуры в Екшуре имени Михаила Петровича Лобанова открыт. Дело сделано. Памятная доска (к которой в скором времени добавится мемориальная, с барельефом писателя) гласит: “Муниципальное учреждение культуры “Районный Дом культуры муниципального образования – Клепиковский муниципальный район, филиал №15, Екшурский сельский дом культуры имени М. П. Лобанова 391022, Рязанская область, Клепиковский район, Екшур, ул. Красный Октябрь, д. 15/6”.

Открытие памятной доски на новом ДК освятил и благословил священник отец Геннадий, один из лучших учеников Лобанова. Есть в этом глубокий смысл, нечто виденциальное: ученик-писатель освящает Дом культуры имени своего учителя. О. Геннадий Рязанцев-Седогин – член Союза писателей России, Председатель Правления Липецкой писательской организации “Союз писателей России”, действительный член Петровской Академии наук и искусств, член-корреспондент Академии Российской поэзии, лауреат литературной премии имени Евгения Замятина, протоиерей. Я время от времени открывал в полутьме автобуса подаренную им книгу, читал первое, что открывала рука, читал из его нового романа: “Становящийся смысл” – это строящийся храм, место на земле, через которое проходит ось мироздания. Вся полнота жизни и земной, и небесной вращается вокруг этого таинственного сооружения, а между тем люди, душой и телом привязанные только к земному, не замечают присутствия глубины, которая, впрочем, не умалется от этого”. Такая переключка с книгой “Внутреннее и внешнее” Лобанова поразила меня. Рукоположенный священник, протоиерей, настоятель храма Михаила Архангела в Липецке (который построил он помощью Божией и тщанием прихожан) взял груз со всей тяжестью его. И вот – несёт опыт учителя. Дальше, в будущее.

“По делам их узнаете их”. По делам учеников познаётся величие учителя. И тотчас вспомнилась давняя, начала 2000-х годов переписка Лобанова, опубликованная в его книге “Твердыня духа”, с отцом Фёдором, монахом Свято-Троицкого Александро-Свирского монастыря, который теперь уже и сам наставник. С каким уважением, даже почтением в этой переписке Лобанов-учитель обращается в ученику-монаху. Как высоко ставил он веру, духовный сан! Переписка их исповедальна.

А нам на семинарах, уже в 1991-м он разъяснял суть атак времени. На священников, на военных-офицеров в ту “пригорбачёвскую” бытность. Нападки на церковь и храмы в прессе. Он говорил так: “Во-первых, необходимо отделять саму веру от персоналий (и в героическом строю попадают неважные воины). Во-вторых, они, священники, рукоположены. А это значит, что те, кто оступился (из священноначалия) по иному счёту сами за своё ответят перед Богом. Ответят на суровом суде иначе, чем миряне. И, наконец, ещё одно, и главное – даже из ржавого крана течёт святая вода”.

...Вечер памяти Лобанова в Спас-Клепиках открыл глава Екшурского сельского поселения Олег Викторович Закалюкин. На вечере выступил глава

администрации Клепиковского муниципального района Николай Владимирович Крейтин и многие другие. Много и хорошо говорили, тревожа аудиторию самыми насущными проблемами писателей и читателей.

Николай Дорошенко говорил об эстафете поколений, которая так много значила для Лобанова. От “Русского леса” Леонова и первой работы о нём Михаила Петровича до последнего леоновского романа “Пирамида”. Вспоминал Михаила Петровича и Александр Евсюков, молодой, но давно уже крепко, уверенно пишущий автор. Он вспоминал учителя, его *опыты духовной биографии* “В сражении и любви”. Прочёл свой рассказ “Один”, посвящённый соловецкому острову Анзер. Подписал книгу в фонд музея Екшуря при ДК. А вслед за ним легко и свободно выступала и читала свои рассказы Софья Гуськова, актриса Театра Российской Армии и тоже ученица Лобанова. Выступали и многие другие. Читали стихи и исполняли песни на стихи Сергея Есенина. Русские сарафаны, замечательные светлые лица. Праздник, даже при многочисленности приглашённых и присутствовавших в зале, получился камерным, уютным, почти семейным. Из родных в зале присутствовали брат по материнской линии Николай Агапов, дочь Михаила Петровича Марина Могутина и его внук Глеб, сказавший много хороших слов об открытии Дома культуры.

Впечатления остались самые хорошие. И не только потому, что здание ДК на родине Лобанова так ново, так чисто и уютно. Построен и оборудован корпус на перспективу для встреч с писателями от СП России, желающими поехать в Екшур. С будущими посланниками, которые пойдут теми же дорогами от ДК Лобанова к храму. Теми путями, где хаживал Михаил Петрович. Сердце утешалось в Екшуре этим милым мягким гласным рязанским протяжным наречием. Так много “е” и “а”. Округляют, бегут слова, катятся. Освежают интонациями. Удобрят речь рязанцы метким народным словечком. Метафорой, поговоркой. Щедро, даже с избытком порой. Так заметны, памятливы мне эти разговоры с детства. Особенно в присказках и поговорках.

Я впервые в Спас-Клепиках. Припомнились записи Михаила Петровича, где он говорит о своей родине из поездок, с чужбины. Записывает он из какой-то азиатской страны примерно так: дождь, дождь и дождь. Несколько дней. Включил телевизор. Там прыгающая цветная обезьяна. Скорее выключить. Почему так просится душа домой, на родину, в чём дело? А дело в том, что память здесь, на чужбине – пуста. Не цепляется, не может ухватиться за события. На родине всё узнаваемо. Увидел куст – там бегал в детстве босиком. Там всегда помнится сокровенное: как вон у тех кустов мама обморозила ноги, когда рубили дрова в лесу. Всё цепляет, всё тревожит и наполняет воспоминаниями душу. За границей же, среди пальм нет родовой памяти. Оттого и тянет так домой, к полноте сердца.

... Теперь и я побывал в тех местах его родных, о которых он говорил с такой любовью. Здесь он родился, здесь жил. К этой земле так сердечно был привязан. “На родной стороншке рад своей воронушке”, – метко замечали в народе. Даже и вороне – “воронушке”, и то рад. Михаил Петрович если и отъезжал за границу, то всегда ненадолго, и стремился скорее вернуться домой.

Уверен, что рано или поздно Россия вернётся к подлинному осмыслению и переосмыслению наследия писателя, критика, публициста Михаила Петровича Лобанова. Переписка его с В. И. Беловым, В. П. Астафьевым, В. Г. Распутиным часто цитируется и издаётся. “Капитан Тушин”, “боец на передовой” – по слову Юрия Павлова. Так жил, таким и ушёл. Последние годы были особенно тяжелы. Быть может, если бы он продолжил преподавание в Литинституте и дальше, то и дни жизни продлились бы. Уверен, дело всей его жизни – обучение, воспитание (*воспитание духовное*) молодёжи – было прервано намеренно. Кто, по чьему замыслу и умыслу вынудил его, профессора, руководителя творческого семинара кафедры творчества Литературного института с 51-летним стажем, заслуженного работника Высшей школы России, почётного работника культуры города Москвы, написать в августе 2014 года это “заявление” на имя и. о. ректора? Эту “просьбу” “в связи со сложившимися обстоятельствами” *освободить его от занимаемой должности руководителя творческого семинара* “по собственному желанию”. “Просьбу”, ознаменовавшую наступление для Литинститута *новых времён* после ухода с поста ректора Б. Н. Тарасова и так дорого стоившую ему – фронтовику, наставнику с более чем полувековым преподавательским служением. С любовью

к делу, к своим “семинаристам” и – их любовью к нему, с его абсолютным литературным слухом... Горько.

Я часто беру его книги с дарственными надписями и разговариваю с ним через его строки. С живым. “Василию Килякову, который собирался впопыхах, а оказался на Олимпе. г. Владимир 2 апреля 1996 года. Приём в СП России”. Такая вот, с юмором, дарственная надпись на его книге “В сражении и любви”. Вся жизнь его – сражение и любовь. Оставалось ощущение, что он отдаёт всего себя, без остатка. Не соотносил себя с людьми, как теперешние “волчата-писатели” “с их плебейской, мутной и безотрадной прозой” (его выражение), а именно жил, проживал судьбу каждого ученика. Он набирал семинары, искал талантливых. Талант был главным критерием его оценки. О его всепрощении ходили легенды. Никогда не забыть, как он здоровался. Крепко, внимательно брал за руку. Глядел прямо в душу. Не выпрашивал, но каждое слово он видел. Именно видел, а не только слышал... Или такая дарственная запись на книге “Твердыня духа”: “Дорогому Василию Килякову с сердечной благодарностью за внимание к моей литературной работе, что меня и трогает, и воодушевляет. Ваш Михаил Лобанов 21 апреля 2011 года. Литинститут”.

Он был твёрд. Не “умел быть твёрдым”, а именно был таковым. Мягким же казался только от любви, даже нежности к людям. Но жесткость была для него не характерна. Помню, как он подписывал мне “Оболганную империю” с некоторой застенчивостью умудрённого человека, для которого борьба – всё-таки не самое главное в жизни. А главное – Литература (Литература, которую ещё во время дискуссии “Классика и мы” в 1977 году он, единственный из писателей, по словам Юрия Павлова, трактовал через категорию тайны как высшей потребности души). Культура. Творчество. Чувство родины. Принимать Человека как “сколок” образа Божьего – вот что было важным в его жизни. Понять эту тайну Божью – Человека. Разоблачив, преодолеть эту пропасть между величием и низостью человеческой. Да разве же разоблачению этой тайны не стоит посвятить жизнь и в самом деле?! Величие человека – в его мечте, в стремлениях сердца.

...Что за тайна – он сам? Откуда вообще в русском народе эти вспышки-явления великих праведников и святых? Эти таланты из недр народных? Эти явления Духа? Среди нищеты, кромешного голода рождается в селе Иншаково в рязанской глуши мальчик. Под крышей из дырявой щепы или соломы, продуваемой всеми ветрами. Мальчик, который сам находит и выбирает, что ему прочесть, чтобы сформировать и “огранить” характер. Пишет первые рассказы в четырнадцать лет. А после войны, фронта, уже студентом, посылает последнюю краюху хлеба родным, матери и малолетним сводным братьям. В пять лет он остался без отца (мать, имея двоих детей, вышла замуж ещё раз – за вдовца, у которого было и своих пятеро, чтобы родить ему ещё четверых). По свидетельству родных, он сам, младо-воин, еле-еле стоял на ногах от постоянного недоедания. А средний сводный брат Валентин, иногда, путаясь, называл его папой. В письмах ему он так и писал: “Остаюсь, твой сын Валя...”

Что и как он читал в то время, о чём размышлял? И что это было за время, дальше, почти былинное, когда к семерым – среди беспросветного труда и недорода, голода – рождали ещё четверых? И жили! И при этом – гордость его, Лобанова, за нацию, за “цементирующую все народы и республики” силу. Любимое слово его и высшая похвала поступка или писателя: “Настоящий русак!” С 90-х годов я слышал эту его похвалу подвигу того или иного человека, писателя, совсем нечасто. Мало кого он устаивал таким званием, произнося эти слова. И как же оскорбляло его нынешнее засилье и эта дикарская “игра” – война на литературном поле – ныне живущих, повторяю, молодых “волчат” в литературе и в жизни. Помню, с каким недоумением – может же такое вообще случиться! – передал он мне однажды книгу “Десятка”, в которой разве только Захар Прилепин не выпустил матерный рассказ, избежал этого. Как он, мастер литературного слова, был поражён, изумлён! Будто при нём поругали его святыню.

Литература была для него на втором месте среди святынь. И вдруг такое... Что же оставалось? Ему самому написать разгром на этих “волчат”, тем самым давая им рекламу своим именем? Он выбрал другой путь – в противовес выпустил сборник своих выпускников “В шесть часов вечера каждый

вторник”. В этом сборнике под эгидой Литинститута он собрал прозу многих своих дипломников. В июле 2013 года книга вышла в свет (помощницей в литературной работе была супруга Татьяна Николаевна). Ответ был достойный. Сверх того — явная, “чистая” победа через книгу в этом споре о нравственности. Не заочно, а делом — в этом весь М. П. Лобанов. Ответить, дать отпор, но ответить нравственно, достойно. Сопротивляться всячески “просвещённому мещанству” и особенно — непросвещённому.

Продолжим вспоминать под мемориальной доской в Екшуре. Первые рассказы Лобанов публикует в четырнадцать лет в газете “Колхозная постройка” (эти рассказы 1940-1941-го годов были представлены в лобановской экспозиции в фойе ДК. Их разыскала, как я узнал, старейшая сотрудница Спас-Клепиковской районной библиотеки Г. Н. Ликий). В 1943-м — спецкурсы под Уфой и отправка из пулемётного училища стрелком на фронт. Август того же 43-го, Брянский фронт. Курская дуга. Разрыв мины и тяжелейшее ранение при наступлении. По его собственным воспоминаниям, правую руку он, едва живой после атаки, “нёс, как ребёнка”, от нестерпимой боли прижимая к груди. С трудом выбрался — повреждена кость. В конце войны, после увольнения из армии, этот мальчик из Иншаково девятнадцати лет поступает на филфак МГУ, который окончит с отличием. Однако в 1949-м он выберет не литературоведческие штудии, а совершенно иной путь. Получит назначение в ростовскую газету “Молот” — этого он и добивался.

Ростов. Вёшенская. Михаил Шолохов. Первая супруга с младенцем отказывается следовать за Лобановым и съезжать от матери “на пустую кочку”.

Потрясённый “Тихим Доном”, он собирает материалы для исследования о великом романе. Встречается с Шолоховым, которому напоминает, что тот по матери — тоже рязанский. “Не, — ответил гордо Михаил Александрович, — нет, я казак! Во мне нет мужицкой крови”. И смешно, и трогательно... И ростовские степи, и Дон очаровали Лобанова совершенно. С трепетом из окна поезда разглядывал он те места, где Гришка Мелехов сажал хлеб и воевал. И там, в Ростове, происходит главное событие его жизни, о котором он напишет в книге “В сражении и любви”. В одиночестве, обесиленный голодом и ослабленный ранением, переживает он тяжёлую форму туберкулёза. Не было сил пройти насквозь маленькую съёмную комнату, просто пройти от стены до стены. Из редакции его изредка посещали, приносили немного еды. Кровь шла горлом. Необычайная слабость из-за голода, едва ли не исход. И вдруг открываются высшие, непостижимые сферы. Об этом он говорил мне и писал гораздо позже, переосмысляя произошедшее, в той же книге — “В сражении и любви”. “Благодать”, — изречёт, вспоминая об этой грани жизни и смерти. И навсегда это чувство останется с ним, станет его путеводной звездой.

В самое жестокое для страны время 1991-1996 годов студенты учились у него стойкости, “непробиваемой” выдержке, стоической в православном понимании. Самое суровое время, если отсчитывать от окончания прошлой войны, — это 1996 год. Из далекого пригорода, из самой Электростали я ехал, шёл по метро по этим улицам великого града Московского, превращённого в помойку, мимо угрюмого памятника Пушкину, с немим укором склонившего голову, шёл к Литинституту. Каждый вторник, в шесть вечера. К Лобанову. На семинары. В душе — смятение. Столько ропота и недовольства... А главное — зачем жить?! “Василий, пиши”. “Ты должен, обязан писать, несмотря ни на что. Пиши из себя, своё”. Он словно отмывал, отстирывал и бережно отжимал наши души. И они снова вспыхивали, как ландыши, по есенинскому слову... Духовная баня. Этот жест его искалеченной на фронте правой руки, жест вперёд, как бы отдающий всего себя, — разве его забудешь?! Он как будто отдавал нам, отнимая что-то от себя, быть может, снова последнее. Как прежде, мальчишкой, инвалидом Отечественной войны, посылал свой паёк младшим братьям, так теперь он делился с нами хлебом своим духовным. Как и прежде, в военное и послевоенное время, отдавал последнее сводным братьям, так и теперь — ученику-“семинаристу” Василию Килякову.

Вижу его, как держит он очки за дужку. Плечистый серый рябеный пиджачок. Отеческий взгляд с таким порой состраданием, от которого сжималось сердце, — таким, что и не передать словом. Всех выслушает, а затем взвешенно, с высоты огромного опыта, даст своё заключение. И тогда такие тончайшие пружины жизни становились отчётливо скрипучи, слышны и зримы. И оторопь брала: как же я-то этого не заметил? И вроде бы знал и видел

то же, что и Лобанов. Но — не так цепко смотрел, что ли... Акцентировать, обобщать не умел? Прошёл мимо. И за “пустяки” почёл многое, за что-то, не достойное внимания. А вот он, Лобанов, посмотрел и — увидел. Он словно с другой стороны показывал предмет, со стороны совсем неожиданной. И тогда мы, ученики, обмирали от внутренней радости, от понятого, раскрытого нам во всей полноте Предмета.

“Предмет, предметность”. Он любил это слово — Предмет. Предмет как Божье изделие. Предмет как фактура — не выдуманное, а пережитое. Божье поущение или же веление. Пережитое, обдуманное, внутренним жаром опалённое. Высказанное на бумаге становится полновесным и только твоим. Слово благодатное, лобановское, слово *большого художника*. Любое, грубое и тонкое, он чувствовал. Надо возвращаться, возвращаться как можно чаще к его наследию. Бывать на его родине, непременно. Строг он был и к себе, и к “писательскому цеху” необычайно. Как тонко и со знанием дела, как пристально наблюдал он — до самых мелочей. И слова, и поступки оценивал. И как же русские писатели дорожили его мнением!

В. П. Астафьев просил его написать предисловие к своей книге “Последний поклон”. Его переписки с В. Г. Распутиным, В. И. Беловым — бесценны... Уверен, не было писателя, который не желал бы, чтобы о нём написал сам Михаил Петрович Лобанов. С содроганием думаю, сколько потеряла литература оттого, что он был загнан в “ЖЗЛ”. Но вот — написал “А. Н. Островского”, “С. Т. Аксакова” — и опять промыслительный подарок. Это не просто биографии “русофилов”, любимых писателей. Они связаны, навечно стянуты с насущным временем, через “идеологическую борьбу между либералами, западниками и почвенниками”. Издавна тлела эта война и необычайно ярко вспыхнула в начале 90-х. И всё же — литература превыше этого... Выше только сам Христос...

Лобанов выслушивал нас. Он знал, что в августе 1992-го радиостанцией “Немецкая волна” за литературный конкурс, объявленный “Дойче Велле” в газете “Труд”, я был приглашён в Германию и два месяца учился языку в Гёте-институте. Такая была объявлена мне “награда”. Интересный “подход” у немцев: обучить лауреата-писателя своему языку, показать свою культуру русскому молодому писателю. Это же не просто посыл. Тут всё с дальним прицелом: влюбить в себя, очаровать... А мы свой язык в школах и вузах сокращаем. Может быть, мы уже завоеваны? “Как же ты выдержал, — спросил Лобанов при первой встрече. — Я и двух недель там не прожил бы, в этом “погружении в чужбину”...

И попал в самую точку. Пришлось признаться, как я был поражён обилием пищи и вещей, особенно в западной части. Обилием совершенно ненужным. Излишеством, которое некуда деть. Сорок пар носков одного размера и всяческой раскраски. В это же время в нашей стране — крупа была по карточкам, по два кило в руки, мыло по куску в месяц. Водка и табак — только у спекулянтов с шестизначными астрономическими ценниками. А там — сияющие бронзовым и золотым отливом здания. Блистающие машины на промытых с шампунем шоссе.

А затем я поделился наблюдением, что при всей их сытости... Глаза у них пустые. Как пластмассовые пуговицы на пальто. Улыбки натянутые. Доброжелательность фальшивая. И я так соскучился по родине, что нашёл уголок на Хайденбергштрассе с берёзкой и небом. Снимал ботинки и садился босиком на траву у берёзки, чтобы не было видно небоскрёбов, чтобы сердце отошло. Ах, Рязань, Рязань моя... Как же я заболел ностальгией. Эта ностальгия тяжелее всех болезней, даже и с COVID-19, вместе взятых. Я купил приёмник и держал его под подушкой. Частушки Трухиной меня лечили, помогали хотя бы заснуть.

Никогда не забыть тот взгляд, с которым он слушал. Он был чуток к людям. К ученикам в особенности. И это тот человек, который нашёл и выбрал для учёбы в своём мастер-классе даже Виктора Пелевина! Разве это не демократизм? Подлинный, честный. Казалось бы, что у них общего? В его духовных теплицах росли и согревались всякие, даже самые причудливые и необычные цветы. Лишь бы жила теплица среди мороза. Пусть и по-гаршински с “Attalea princers”! Лишь бы был плод. Думаю, мы увидели бы совсем иного Пелевина, если бы он доучился у Лобанова. Ярче, содержательней, глубже.

Михаил Петрович был скромно удивительно. Никаких подношений не терпел, не брал. Однажды один из нас, дипломников, “просачковал”, не принёс преддипломную работу, что было обязательным. Тогда студент догадался: купил дорогой японский кассетник-магнитофон, записал беседу трёх старух в электричке. Переписал-переложил их диалог, чуть подредактировал и принёс Михаилу Петровичу, выдав за “эксклюзив”. Я никогда не видел прежде учителя таким рассерженным. “Что это? – спрашивал он, возмущаясь. – Это что?” – “Повесть”, – робея, отвечал студент. “У Вас защита на носу, а вы приносите мне запись какого-то обывательского партсобрании!” Тогда студент не нашёл ничего лучше, как предложить: “Михаил Петрович, а можно я Вам свой дорогой кассетник принесу. Чудо, что за магнитофон! Настоящий японец!” Взрыв ещё большего негодования потряс стены аудитории: “Конечно, несите, да поторапливайтесь. Ваш магнитофон. Но в бумаге, в виде хорошей повести или – рассказами! Вот ещё выдумал! Магнитофон!”

Однажды был я свидетелем, как заочники, собравшись во вторник, разложили ужин. Сухую колбасу, хлеб... Удивительно совпало. Все работали и учились заочно. Один привёз горячие батоны с пекарни на Новослободской. Другой – колбасу сухую черкизовскую. Третий – молоко лианозовское. Пир горой. Я с удовольствием кусал, ломал, резал и жевал с моими гостеприимными друзьями. Михаил Петрович, в очках, лицом к нам, просматривал рассказы и повести к предстоящему обсуждению. Снедь была до того вкусна, что я не удержался, нарезал бутерброд, налил чаю из термоса, принёс и поставил перед ним. Он молча посмотрел на меня и вновь углубился в чтение. Ребята поняли мой жест доброй воли по-своему. И вот уже угощением был заставлен первый стол, и мы с радостью ждали похвалы. Как же, поделиться – первое дело. Не тому ли учил он нас всегда? Каково же было наше удивление, когда, дочитав рукописи, глядя пристально нам в лица, он несколько рассерженно и деловито сказал: “Так, всё? Всех присутствующих переписать в журнал. И убрать всё это! Какое-то паломничество, честное слово!” Это его точное “паломничество” никогда не забыть.

Позже приходил к нам на семинары о. Дмитрий Дудко. Невысокий, необычайной крепости и энергии священник... В широкой, в пол, епитрахили. Семинар в день первой нашей встречи длился часа четыре... О. Дмитрий пытливо и молодо переходил, почти перебежал от парты к парте к каждому студенту в аудитории Литинститута, отдельно каждого спрашивал сам. И отвечал на вопросы с шутками, чем всех нас сразу очаровал. Вразумлял нас, молодых остолопов. Реагировал мгновенно. Это в его-то годы, которые принято называть “преклонными”.

М. П. однажды рассказывал, как в конце 80-х годов оказался с выпускником своего семинара Женей Булиным (ныне протоиерей отец Евгений, настоятель храма Михаила Архангела в селе Загорново в Подмосковье) и Николаем Тетеновым из США в подмосковном Черкизово, где служил в храме и проводил беседы с молодыми прихожанами священник Дмитрий Дудко. “Устали в тот день смертельно, – рассказывал Михаил Петрович, – после долгого ночного разговора лёг я на диван в небольшой комнатке батюшки, за тонкой дощатой переборкой, отделявшей нас. Так устали от переездов и выступлений, – словом, “вряд до места”, как говорят, до кровати добраться бы. Проснулся вдруг от какого-то еле уловимого движения, шёпота. Отец Дмитрий подождал, пока все заснут, утомлённые заботами и хлопотами дня. Встал и – молится, молится, молится...”.

Затем я прочитал об этом эпизоде в его книге “Твердыня Духа”. И здесь он уже не говорит про усталость. Сколько скромности в этом эпизоде о “недосягаемости” священника нам, мирянам, в духовном надмирном плане. Священник, который, молясь, как бы перемещается в высшие сферы – в сферы Духа. Как непритворно уважал он сан иерейский, монашество, благоговел перед подлинным старчеством. И как чужд был сам всякой гордыни, превозношения. Вот эти строки – сосредоточенная “внутренняя” сокровенная интонация его, которую, конечно, почувствует и читатель: “Уже в конце 80-х годов мы троём – выпускник Литературного института Женя Булин (ныне отец Евгений), Николай Тетенов из США, редактор журнала “Русское самосознание”, – и я приехали в подмосковное Черкизово, где служил в храме Димитрий Дудко. После вечернего богослужения, трапезы с участием большой группы молодёжи – духовных детей батюшки – мы отправились на ночлег.

Я лежал на диване, а за перегородкой стоял отец Димитрий и полушёпотом читал молитвы. Днём мы прогуливались с ним по берегу Москвы-реки, удивительно широкой здесь, разговаривали на разные мирские темы, для меня он был Дмитрием Сергеевичем, чуть ли не коллегой по литературе. И вот теперь, слушая за перегородкой молитвы отца Димитрия, я почувствовал недостагаемость его для меня, и все наши недавние дневные разговоры были как будто с другим человеком. Было уже за полночь, глаза мои слипались, одолевал сон, я со всё меньшим вниманием прислушивался, а он всё молился, молился, молился... ("Твердыня Духа". С. 940)

Творческий конкурс в Литинститут в 91-м был, к моему удивлению, пройден сразу на два потока: к Евгению Сидорову на критику и к Лобанову на прозу. Собеседование было последним из пяти. И решающим – мастер сам выбирал учеников. "...Так у кого же ты желаешь учиться?" – был задан вопрос на этом экзамене. По результатам творческого конкурса и этого последнего экзамена преподаватели, включая "оппонентов", пылливо присматривались к каждому студенту. В ту пору литература и сами писатели были в большой цене. Писатели были интересны, ценимы, уважаемы, они задавали тон и направление мысли, к ним прислушивались. На них настраивались. А. Б. Чаковский – и тот собирал огромные залы. Теперь его вряд ли кто вспомнит, а тогда...

Пройдя творческий конкурс, сдав экзамены, я задумался. А подумать было о чём. Вспомнил "синтез", синтетику Сидорова, какое-то многословие, от которого в душе ничего не осталось. И полнокровные, полные энергии и жизни книги Лобанова. Конечно, я мечтал печататься. И ясно было, что Сидоров (в случае поступления к нему) может открыть широкие врата в издательства. А Лобанов? Лобанов научит писать. И тебя не напечатают, наверное... И, конечно, ты будешь сам биться в редакции. Такому человеку не скажешь: помоги, устрой рукопись.

– У Лобанова. Только у Лобанова, – сказал я приёмной комиссии.

"Оппоненты" Мариетта Чудакова и Анатолий Приставкин недовольно переглянулись, заёрзали за широким столом, крытым зелёным сукном:

– А почему?

– Я хочу быть плотником. Учеником плотника (я намекал на Писание).

– А столяром? – парировал Приставкин.

– Столяр – это иное... Не о столярном рубанке и клее речь...

И я увидел, как он, Михаил Петрович Лобанов, сидя с краю и улыбаясь, подмигивает мне, но так, чтобы никто не мог увидеть. Тем глазом, который обращен ко мне, в мою сторону... Но так скрыто и заодно, что и мне самому стало весело. Подмигнул мне, чтобы никто не заметил! Было в этом нечто от пушкинской шутки и от есенинского озорства... Какая-то забота отца была в этом забавном подмигивании. Теперь-то понимаю, что я волновался перед столь представительной комиссией, в которой не знал и половины докторов наук и профессоров... И запомнил его заключительные слова, сразу снявшие напряжение:

– Хороший плотник, он же и столяр. И критику не оставим, и прозу подтянем. Берём!

Он учил, что литература – не забава, а сама жизнь. Точнее, ток этой жизни, её кровь – Литература (именно так, с большой буквы. Не игра в "сюр" и "пост", поиск самого фермента, наблюдение, способность убеждать образами). Литература – то, на чём воспитываются поколения. Как на его любимом "Тихом Доне", не случайно он и перед самым своим уходом вернулся именно к этой книге. Отними у нас классику: музыку, поэзию, прозу – и мы никто. Не нация. Не оттого ли немцы рассеивают по всему миру свои языковые центры, "Гёте-институты", перевербовывают в свою веру, добиваются поклонения своей культуре?..

...Однажды он пришёл на семинар чернее тучи. Из лазарета больничного. Было это так. Семинар во вторник накануне отменили, случай – редчайший. Лобанов был во вторник всегда, вёл семинары, что называется "без дураков". Приди я один или любой из нас. Он два-три часа, как по обыкновению, вёл бы семинар, не считаясь со временем, для одного. И вот – семинар отменён. Это случилось в канун дня и ночи расстрелов октября 93-го. Мобильных телефонов тогда не было, а оповещали студенты друг друга по стационарным. И вот известие, горькое: Михаил Петрович

лежит в клинике с серьёзным диагнозом. Лёгкие. Он периодически ложился на диспансеризацию, но тут открывшиеся каверны. Ноябрь, снова затемнение лёгкого. И вот атака на Белый Дом – и объявление из деканата: “Лобановцам-семинаристам собраться во вторник на семинар. Непременно”. Конечно, тайная радость сначала. “Значит, подлечили...”

И вот вошёл. Высокий. Голова по обыкновению чуть закинута назад, но в тот день более обычного, что значило: он внутренне напряжён. Повесил гороховый плащик на вешалку в аудитории. “Все собрались?” – “Все”. И вдруг – вскинув брови, стоя: “Стрельба. В столице! И это – в самом центре Европы! В Москве! По своим. По народу! Я никак не мог понять, что это... – взволнованно говорил он нам. – Какой позор на весь мир! Как в какой-нибудь Замбии или Бангладеш! Что происходит?!”

Оказалось, что там, в больнице (куда он периодически ложился и подлечивал лёгкие, с той давней болезнью, что он болел в Ростове, переросшей в хроническое недомогание, мучавшее его), он по окончании процедур вышел в зал клиники. В стационаре смотрели “Новости”. Он никак не мог понять, отказывался верить, что это будни Москвы октября 1993-го. В тот же день он покинул больницу, не долечившись. Просто ушёл, кашляя и задыхаясь... Он и с нами говорил в тот день, подкашливая... Бледный. Серый лицом.

Но об этом мы узнали лишь спустя годы. После стрельбы по Дому Советов (он не переносил слов “Белый Дом” – эдакого реверанса Америке). И я через годы снова переживаю, вспоминая об этом. В этом он весь: ушёл из клиники, не завершив поправку своего здоровья, чтобы успокоить нас, своих учеников.

Не все разделяли его убеждения. Даже не так: разделяли немногие. Не всё было гладко в преподавании, периодически слышались провокационные вопросы от студентов. И как же было стыдно за вопрошающих “с подтекстом”. И жаль было его. Он отвечал им порой смущённо, но всегда взвешенно и доходчиво. Очень сдержанно и корректно, явно жалея их самолюбие. Конечно, он мог ответить – отбрить так, что только держись. Но не уничтожал. Но тогда собеседник был бы осмеян, взбешён, затаил бы ярость. И носил бы камень за пазухой. Он вообще никогда не давил, не навязывал своего мнения. Каждый шёл своим путём...

“За всю жизнь мне так и не пришлось встретить человека, который бы с таким чутким вниманием, граничащим с отцовской любовью, относился бы к творчеству своих подопечных. Для него все мы, невзирая на лица и возраст, национальные, убеждения и на меру таланта – были учениками, его студентами, по-родственному близкими, за которых – и это ощущал каждый – он нёс какую-то высшую ответственность, своим собственным примером являя нам исполнение нравственного закона. В то безбожное, полное политическое лицемерия время он был для нас евангельским самарянином, который врачевал наши души, возливая на их немощи вино своей мудрости и елей любви”. Прочитал недавно в журнале “Славянка” (2018, № 1) эти слова выпускника семинара Михаила Петровича 80-х годов Сергея Тимченко из его статьи “Лобановская твердь” – предисловие главного редактора к открывавшейся в журнале новой рубрике – “Лобановские чтения”. Как это верно! Нёс какую-то высшую ответственность, всем примером своим являя её исполнение. “Нравственный закон” – как это точно сказано! Мудрость и такт Лобанова были как будто не от мира сего.

И вот – Екшур, Дом культуры в его родовом селе. Неужели что-то меняется? Неужели мы выбираемся, выходим, выдираем ноги из этого, долгие четверти века сдерживавшего нас болота невежества и халтуры? Но попытки выдраться были и раньше. Я знаю, что Президент наградил его высокой наградой. Но, наградив, вылетел в Екатеринбург... открывать Ельцин-центр.

Тайна жизни всякого человека “велика есть”. А Михаила Петровича Лобанова – тройне... Всё пытался найти, объяснить себе, в чём кроется эта тайна? Тайна его избранничества. В тяжкой боли и последствиях военного ранения? В туберкулёзе? Откуда ему этот дар и наказание – боль русской души за весь свой народ? Эти мука и благодать... За тяжко прожитую жизнь. От стены до стены в нанятой ростовской квартирке – дистанция длиной в жизнь. Оттуда “Твердыни духа”, оттуда “В сражении и Любви”. Бессребреник. Избранник Божий через страдания. Его сила, его корневая система помогли ему вынести то, что творилось и со страной, и с отдельными людьми. Выдержать то,

чего иные и не поняли, протерпели, как терпит растение или животное... Четверть века после той пресловутой “перестройки”. Чтобы учеников вытащить и образовать. Не “образованцами” отпустить в жизнь, не “просвещёнными мещанами”.

Сколько он вывел из окружения, сохранив и зная, и честь?! Сколько их было, спасённых им душ, за пятьдесят один год его преподавания в Литинституте! Из того страшного времени “озверения”, окружения он вывел нас за руки, под руки. Никто не сел. Кто не научился писать, тот не пропал. Поручкой тому — одно из последних его интервью, с крепким и недвусмысленным названием: “Наш народ попал в талмудистскую западню” (газета “Русский вестник” в № 5 за 2015 год — отрывок из большого интервью выдающегося писателя). Поистине, *ума холодные наблюдения и сердца горестные заметы*.

Иногда живу так, как жил он. Точнее, пробую так жить. Пытаюсь... Так, чтобы, совершив тот или иной поступок в жизни или в писании, Видеть и Слышать сквозь тусклое стекло... Так, чтобы никогда не было стыдно за содеянное, за сделанное, сказанное или написанное. И тогда я думаю: если здесь и сейчас я поступлю именно так, а не иначе, одобрил бы меня Лобанов? И как же трудно жить без компромиссов! Тогда не жизнь, а Предстояние, служение. Окопная земляная правда под высоким небом, под звёздами. И нет укрытия ни для одной мысли, ни для одного деяния, ни для одного движения души. Очень непросто жить так. Даже если — только временами. В этом вечном движении и кружении жизни забываешь и отпускаешь момент, как монах порой забывает о чётках. Как сложно, как архисложно жить не минутными потребностями, а вечностью, дыханием вечности. Это как стоять в морозную ночь на камне и молиться. Не отпускают обязанности, привязанности и дела. А как же он? А он?..

А он жил так всегда.